

A person wearing a fedora hat is seen from the side, looking out over a city skyline at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow that silhouettes the buildings and the person. The city lights are visible in the distance.

Ася Долина

У НЕГО
КО МНЕ
БЫЛ

НЬЮ-
ИОРК

русский **и**ностранец

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Ася Владимировна Долина

У него ко мне был Нью-Йорк

Серия «Русский иностранец»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64066491

У него ко мне был Нью-Йорк / Ася Долина: АСТ: Редакция Елены

Шубиной; Москва; 2021

ISBN 978-5-17-127444-3

Аннотация

Город, где дышит океан, где каждому дана свобода. Город запахов, ритмов, улыбок. Нью-Йорк наших дней, в котором возможно всё, даже излечиться от травмы деструктивной любви. Но город – не врач, он лишь декоратор. Путь к себе начинается изнутри... Маршруты найдёте под этой обложкой.

Ася Долина – журналистка, прозаик, активный блогер – переехала в Нью-Йорк из Москвы в 2016 году, в 32 года. Эта книга сложилась из текстов о любви и нелюбви, о насилии, психологии, материнстве, феминизме, детстве, перемежающихся нежными и точными зарисовками будней «Большого яблока».

Содержание

Тем, кто живёт в нелюбви	6
У него ко мне был Нью-Йорк	10
Сейчасье	12
Шона	14
Мое 11 сентября	19
Отравленная почва	26
Кафе «Ну-Ну»	28
Письмо себе двадцатитрёхлетней	34
Прямо в кровь	37
В школьной раздевалке	38
Концерт «Radiohead»	40
Сохрани в себе мальчишество	42
Оголяясь перед ним	44
Элинор	45
Как разъярённая волчица	51
Холодное сердце	53
Домой, в Нью-Йорк	56
Старина Эрл	59
Студия в Сохо	63
Под шелестящими платьями	67
Письмо от себя шестнадцатилетней	69
Винтажный плакат	73
Канатоходец	77

Кто ты?	79
Мистер Уилсон	81
По колено в океане	85
Настоящая депрессия	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Ася Владимировна Долина

У него ко мне был Нью-Йорк

© Долина А.В.

© Обух А.П., иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»

Тем, кто живёт в нелюбви

Знаю, мы не знакомы толком, и нелепо называться твоим другом. У тебя тяжёлое утро. Небо затянуло серым, московская зима вошла в самую безрадостную стадию.

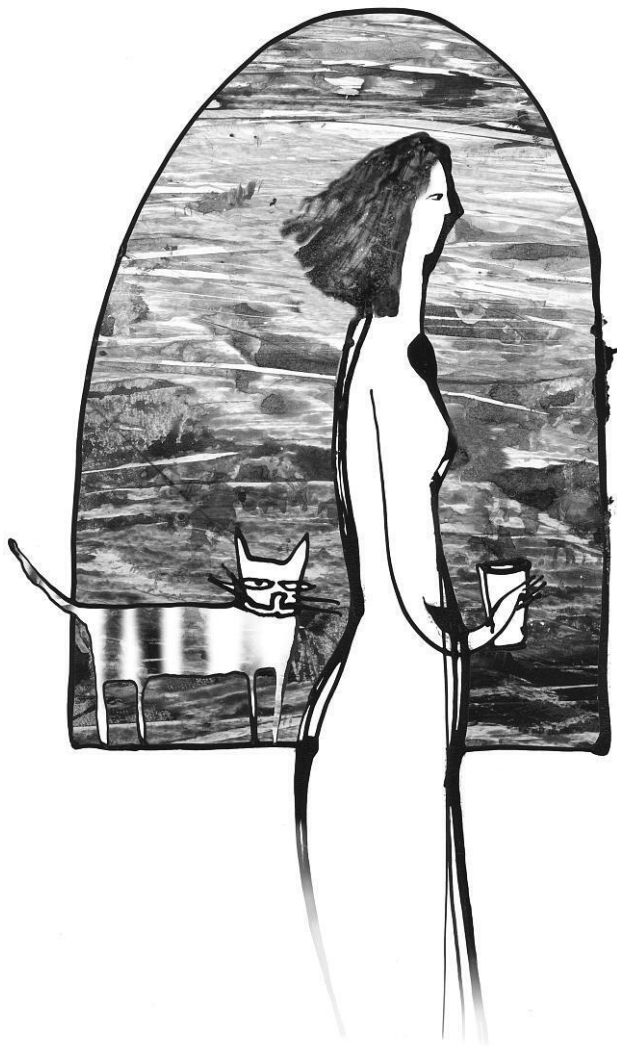
Из всех праздников впереди только День святого Валентина, как будто нарочно придуманный для того, чтобы поглумиться над теми, кто живёт в нелюбви сейчас.

Вне любви.

Праздник, который хорошо бы проспать.

По-честному, тебе не хочется даже вылезать из постели. Ты скроллишь ленту в поисках неизвестно чего. Череду сияющих лиц в инстаграме, агрессивный курс на успех и не терпящая возражений «мотивация» в сториз блогеров, эталонная жизнь которых – недостижима.

Полосатый кот пришёл пожурчать под боком, он твой главный друг и родная душа.



Тш-ш-ш-ш.

Не отвечай ничего. Так может быть, что тебе печально и трудно сегодня. Так может быть, что силы исчерпались и ресурса быть доброй, радостной и сильной больше нет. Но мы – не роботы. Дай себе вдохнуть и выдохнуть. Побудь грустной. Помни: это нормально, это тоже в человеческой природе – устать и признать, что мы не всегда получаем пятёрку с плюсом по предмету «жизнь».

Разреши себе сегодня никуда не ходить. Надень мягкий свитер оттенка топлёного молока. Чтобы он нигде не царапал кожу, не колол, не жал. Сделай себе уютно. Завари крепкий ароматный чай. Налей его в любимую кружку, которая непременно напоминает тебе о чём-то приятном.

Закрой глаза и вспомни любое мгновение, когда ты самозабвенно звонко смеялась.

Зажми эту кружку между ладонями. И попробуй посмотреть на себя со стороны. Какие у тебя нежные руки. Какая ты трогательная. Как много в этой твоей грусти настоящей тебя.

Которая мечтала о самых обычных вещах – чтобы любовь сложилась, работа нашлась, дети родились, путешествия состоялись, походы в театр по выходным не прерывались.

А получила тихое и одинокое утро.

Погладь пушистую голову кота. Сделай глоток чая. Он, наверное, уже остыл. И услышь, пожалуйста, простое: этот этап твоей жизни пройдёт, страница перевернётся, как там

пишут – за истечением срока давности.

И начнётся совсем другая глава твоей жизни.

У него ко мне был Нью-Йорк

У меня к нему была Москва, модная, упругая, зазнайская, колючая и не лыком шитая.

У него ко мне был Нью-Йорк, огромный и сказочный, полный незнакомого тёплого воздуха, стоящий на океане.

Я говорила: «Моё сердце тысячу раз разбилось до встречи с тобой, но почему-то я смотрю тебе в глаза, и кажется, ничего плохого не случилось, и я снова та четырнадцатилетняя в самом начале начал, и дороге моей только предстоит сложиться».

Он мне говорил: «За двадцать лет, что мы не виделись, я глядел на землю с нескольких сотен самолётов, перед моими глазами проносились города и страны, я прочёл пять тысяч книг, но почему-то так и не залечил рану своего одиночества».

У меня к нему была Москва, видевшая, как я росла, становилась из девочки девушкой, из девушки женщиной, как я сменила CD-плеер на MP3, как все песни и фотографии перешли в айфон, как я стала делать дорогое окрашивание и гель-лак.

У него ко мне был Нью-Йорк, он трясся в поездах его метрополитена задолго до моего приезда, город, превративший его из студента в футболке с надписью «Radiohead» в мужчину, который выбирает костюм и запонки, знает толк в скот-

че, умеет целовать женщин и спорить о политике.

Я ему говорила: «За двадцать лет, что мы не виделись, мир перевернулся, и у меня теперь есть дочь».

Он мне отвечал взглядом своим пронзительным. И я без слов поняла, что он полюбит моего ребёнка.

Обнимаю теперь своего мужа, а помню его ещё мальчиком. Мой Д. Острые коленки и кеды со шнурками ближе к весне. Задорная улыбка его и первые наушники-капли с «Oasis».

А он помнит меня ещё девочкой, наверное. Четырнадцатилетней. Заносчивой и дерзкой. С пушистыми каштановыми волосами, убранными в хвост.

У него ко мне тогда, двадцать лет назад, в Москве, во дворе между «Филями» и «Кутузовской», была любовь. Совсем ещё детская, ни на чём, кроме стука сердца в его груди, не основанная.

У меня к нему была холодность, с какой девочки вроде меня в поисках опасных приключений отшивают хороших мальчиков. Ничем, кроме воя в душе, не оправданное чувство.

А потом ему исполнилось семнадцать, и он посмотрел на землю из самолёта, который перенёс его в Америку. И только через двадцать лет мы встретились опять, и у меня к нему была Москва, у него ко мне – Нью-Йорк.

Сейчас

Иногда хочется одёрнуть злое время за рукав и жалобно попросить: постой, не лети же вперёд так быстро, я не успеваю за тобой, время, замри хоть на мгновение, дай отдышаться.

У счастья по-прежнему непривычная мне текстура. Счастье и несчастье не имеют ничего общего, кроме корня слова.

Сейчас.

Хотя счастье и несчастье иногда выглядят одинаково: мужчина и женщина удаляются в тишину ночи, видны только их спины. Жёлтый фонарь в тёмном переулке Бруклина, высвечивающий их силуэты.

Я иногда вижу в этих силуэтах себя и Д., иногда – мою подругу А. и её бойфренда после балета «Щелкунчик», иногда – других моих нью-йоркских подруг, обретших в этом городе себя. Или вовсе незнакомцев, я вечно сочиняю о них истории.

В любом случае обе фигуры должны быть в длинных пальто и асфальт под их подошвами должен быть мокрым.

Всё, они вышли из кадра. Кто знает, что там между ними?

А между ними в случае любви – города и страны, километры музыки, которая нравится обоим. Как они вместе поют, не всегда попадая в ноты. Как она смеётся, готовя ему

ужин. Как он целует её в нос, уходя утром на работу. Их дурацкие клички друг для друга. Их вечера, когда можно валяться на кровати и бессмысленно шутить. Плестись куда-то под дождём пьяными. Заказывать домой пиццу, делать глупые фотоснимки в примерочной «Юникло». Знать, что он точно придёт домой вечером. Прыгать на рок-концерте, как подростки.

А в случае нелюбви между ними – ничего. Короткие гудки в телефонной трубке.

Опытный в нелюбви – неофит в любви. Всё ему в ней в диковинку.

Всё мне в ней в диковинку.

Работающие отношения напоминают тесто, которое схватилось, поднялось, наполнилось, приятно тянется, вкусное даже сырым и вот стоит подрумянивающимся пирогом в духовке и честно, чудесно пахнет на весь дом.

Неработающие же похожи на тесто, которое не задалось и всё время рвётся. Не поднимается. Не пахнет. И вряд ли из него выйдет правильный пирог, но ты всё равно его готовишь.

Шона

Я окончательно осталась в Нью-Йорке в октябре 2016 года. С восьмилетней дочерью. Город тогда сбил меня с ног своей свободой. Всеми видами, вихрями свобод. Хотя «сбил с ног» – это не те слова, в них слишком много грубости. Нью-Йорк не сбивал меня с ног: он обдувал моё уставшее сознание тёплым родительским дыханием.

Такой ветер я ощущала в детстве, когда наш поезд, отчалив с Курского вокзала, наконец-то доходил до конечного пункта и мы приезжали с мамой и братьями на море. И пахло персиками. Ребёнком я ощущала прикосновение этого воздуха к коже, и в кровь моментально будто бы вливался гормон безмятежности и покоя. И это вернулось ко мне в «Большом яблоке». Только дуло здесь не с моря, а с океана.

Поздней осенью 2016 года Америка выбрала Дональда Трампа, и я, российская журналистка, привыкшая к пришибленности наших СМИ, в восторге наблюдала за тем, как массмедиа свободно реагируют на гром и молнии в политике.

Ведущие вечерних шоу сердились, возмущались, глумились, пародировали политиков и задавали вопросы. Люди вокруг меня увлечённо спорили о демократах и республиканцах, об экономике, равенстве и справедливости, о расизме, гомофобии и сексизме.

Дискриминация женщин не ставилась в этом моем мире под вопрос, общество полыхало от обиды на властных мужчин, а в прессе гроыхало #metoo. Мир вокруг плавился и медленно раскрывался перед возможностью честно говорить о насилии в самых разных людских отношениях. Я же тихо вела блог и размышляла о собственном опыте.

В мою жизнь ворвалось слово «феминизм». В нём не было ничего плохого. О правах женщин говорили не стесняясь, не хихикая и не издеваясь. Опираясь на это слово, я одновременно распутывала клубок прошлого и конструировала свою новую реальность.

Со мной беседовала вся моя жизнь. С разведённой женщиной чуть больше тридцати, которую, как айфон, заблокировало на несколько лет от обилия неудачных попыток войти в систему. А потом замок взял и снялся.

Постепенно я узнавала такие слова, как «сексизм», «мизогиния», «границы», «абьюз», вернее, они обретали для меня трёхмерность, наделялись смыслом, применимым именно ко мне, к моей судьбе.

Раньше я только блуждала по этому влажному туману нетерпимости по отношению к самой себе, но не знала, как его называть, на какие элементы его разложить. Я выросла и прожила огромный отрезок жизни в облаке этого тумана, и я привезла его с собой из России, меня постепенно вывел из него мой возлюбленный, Д.

Он не делал это как-то специально. Но он показал мне

мир, в котором возможно другое отношение к женщине.

Мой взгляд на действительность и восприятие себя начали меняться, я отогревалась под лучом его отношения к себе. Из подавленной и несчастливой превращаясь в сильную, спокойную и созидательную версию себя.

И всё это время я вела блог, из заметок которого и составила постепенно эта книга.

Помню, в марте 2016-го мы гуляли по Нью-Йорку и случайно попали на феминистский «розовый» марш. Мы оказались среди тех тысяч, которые вышли в то воскресенье на акцию. Там были и семьи с детьми, и пожилые люди, и одиночки, и гей-пары, и какие угодно компании. В том мире, куда я попала, не только мужчины, но общество в целом поддерживало женщин в их стремлении жить более свободно и независимо. Так мне казалось. Мне было странно и непривычно видеть всё это.

Марш, как река, вынес тогда нас на площадь Фоули, где шествие превратилось в митинг и на сцену начали выходить по очереди самые разные фемактивистки. Политики, учёные, педагоги, врачи, социологи и художницы.

Но ярче всех я запомнила Шону. Глядя на неё, на её выступление, я поняла, что прежде я не видела настоящей феминистки. Что моё представление о том, кто это такие, не имело ни малейшей связи с реальностью.

Я никогда не ощущала женской энергии такой силы. Женского голоса, громкость которого была бы выведена на мак-

симальный уровень. Честность этой женщины была острой, как медицинская игла.

Шона была афроамериканской поэтессой. Лет тридцати пяти, примерно как я. Короткие торчащие в разные стороны дреды, ярко-голубой сарафан на тонких лямках, спокойное и умное лицо. Красивая, естественная, неистовая, она была отлично известна аудитории – когда она подошла к микрофону, её приветствовали криками, аплодисментами и радостным свистом.

И Шона начала читать свои стихи.

Это было обращение к маленькой дочери, которую она укачивала, напевая колыбельную и одновременно давая ей наставления о том, как выжить афроамериканской женщине в этом жестоком мире.

Это была душераздирающая смесь мамского воркования и языка бунта, на котором женщина в отчаянии отстаивала свои права.

В стихах она учила крохотную девочку кричать, верещать, как самая громкая сирена, если хоть какой-то мужчина прикоснётся к ней без согласия, если он нарушит её безопасность и обойдётся с ней жестоко.

Шона была так откровенна в своём гневe, так беспощадна в своих эмоциях, а стихи у неё были красивые и грубые, как крупная галька на том самом коктебельском берегу, куда меня привозила в детстве мама. Плюс голос – низкий, груд-

ной, музыкальный.

Глаза слезились от её стихов, как от сильного ветра.

Я никогда не знала такого единения с женщинами, как на том марше, он разбудил что-то во мне. Я не осознавала, что мой путь – это не индивидуальная история, а часть системы, где каждой из нас трудно прорваться к возможности жить без страха и быть собой.

Шона была мощной, как огромная свирепая птица.

Мне понравилось тогда, что мужчина, которого я выбрала, чтобы впустить в свою жизнь, мой Д., тоже оторопел от неё. Мы после её выступления ещё долго молчали. Анализируя силу её короткого перформанса на акции, я поняла, что лирический голос, который отзывался внутри меня на её слова, ни в коем случае нельзя глушить, и я начала осмыслять свою жизнь, я стала учиться феминистской оптике через тексты.

Мое 11 сентября

Прекрасно помню момент, когда я стала человеком, которому изменяют. Как назло, тот период своей предыдущей жизни, в Москве, я ощущала как вполне счастливый. Помню, было самое начало осени, ещё тепло вечером, Москва не перекопанная и пустая, ребёнок – с бабушкой, и мы, приобняв друг друга за талии, тащим домой первый долгожданный сезонный арбуз.

На следующий день внутри меня рухнуло здание. Это было моё личное 11 сентября. Ощущение шока было усилено нарушением какой-то моей собственной, внутренней логики. Получалось, моя интуиция состоит сплошь из ошибок, ведь я была нежна, эмпатична, умна, внимательна, динамична, но моё чутьё допустило такой провал.

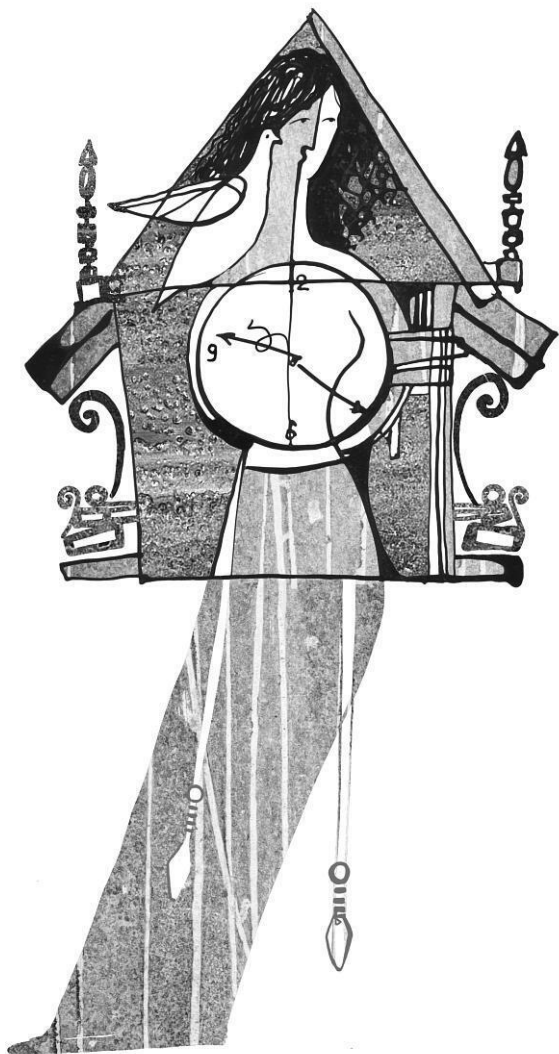
Я – старые сбрендившие механические часы, у которых все стрелки идут в разные стороны с дикой скоростью и кукушка не затыкается.

На следующий вечер после того арбуза я пришла домой первой; того, с кем я пыталась тогда быть вместе, ещё не было в квартире, зато на экране его компьютера сиял открытый активный чат, и я прочитала то, что там было написано.

Отвращение – до рвоты.

«Выходит, – моментально сказал мне мой очень злой то-

гда мозг, – ты не только плохая жена, но и плохая мать, ведь материнство – это, по сути, чутьё, а твоё чутьё не работает».



Не спрашивайте, как одно цепляется за другое. У нас, женщин, склонных, как я тогда, в своей предыдущей жизни в Москве, к созависимости, иначе и не бывает. Здание рушится не фрагментарно, а целиком. Ты и не виновата толком, тебе бы и обидеться от всей души, разгневаться и не дать себя больше в обиду. Но вместо всего этого получаешь здание, разрушенное взрывом до самого фундамента. И дальше ты, окровавленная, в пыли, на дне бытия.

Но я умела выносить боль. Очень много боли. Я не распознавала депрессии.

Я даже не стремилась осознать, что случилось. Через несколько дней мне уже казалось, что всё относительно нормально, не впервые же, и жизнь мало изменилась. Я переносила чудовищную разрушительную печаль на ногах, продолжала строить карьеру, смеялась над чем-то там с друзьями.

А внутри был пепел.

Только материнство во мне не стало пеплом. Моя терапевтка говорила потом, что материнство было самой здоровой зоной той части жизни.

Почему при измене в созависимых отношениях наступает «11 сентября» и здание рушится целиком? Потому что это здание – карточный домик, у него вместо фундамента – бумага, а вместо перекрытий – ветер. Сплошные иллюзии и попытки разума обвести тебя вокруг пальца.

И моему сознанию только показалось тогда, что это было

такое уж большое и важное предательство. Оно ведь не было ни большим, ни важным. Оно было очередным, сотым в длинном списке. Это был снова пропущенный мной сигнал того, что связь не сложится и рана сама собой не затянется.

А первым... Первым и самым главным предательством стал его мне телефонный звонок во время застрявшей в памяти угрюмой мартовской метели. Когда мне было двадцать три года и я, беременная, вышла со станции метро «Динамо». Взяла телефон. И узнала, что мужчина, который ещё вчера хотел со мной ребёнка, сегодня решил расстаться со мной.

«Потому что сердцу не прикажешь».

Именно тогда «качели» обнаружили себя в первый раз, и сахарное шоу сменилось ледяным душем.

А отношения, то, что я пыталась ими называть, стали пеплом при первом же предательстве.

Но мы не расстались. Мы сходились и расходились.

У меня ехала крыша. Аккаунты абсолютно чужих мне женщин я стала проверять чаще, чем свои.

Это было похоже на вбивание гвоздей себе в голову. Он же успешно убеждал меня в том, что я сама виновата в наличии гвоздей в своей голове.

Возможно, сейчас, после многих лет старательной психотерапии, я сумела бы дать себе поддержку, найти слова утешения, защитить своё сознание цельностью, независимостью, феминизмом, в конце концов, но тогда – нет.

В ответ на его измену я уничтожала себя.

А потом шло время, мы пытались быть родителями, пытались иногда быть вместе, но я снова и снова сталкивалась с приглашением в ад.

«Как ты переживёшь измену, Ася?»

«Ты покажешь, что знаешь, или нет?»

Надо уметь не показывать, что знаешь. Иронизировать над тем, что знаешь. Не знать. Никогда не смотреть в его телефон. Теперь я умею никогда не смотреть ни в чей телефон – полезный, в принципе, навык, но почему цена его приобретения так высока?

Если ты живёшь в отношениях, где есть злая и тайная измена, ты обретёшь кучу бессмысленных, глупых и злобных навыков.

Уметь в секунду переключаться в режим чужих людей. Не разговаривать неделю и при этом не страдать. Быть на одной вечеринке, но по отдельности. Провоцировать его. Огорчать себя. Флиртовать с другими. Унижать и унижаться. Изменять самой. Делать это без капли тепла. Садистически точно. Выверенно. Невинно.

А в итоге-то ты такая опытная в нелюбви. Ты, оказывается, ничего и не знала о нормальных отношениях. Все эти умения не нужны в любви. Разве что – для сравнения.

Зато, узнав настоящую нелюбовь, ты легко распознаешь то, что судьба ей в конечном итоге противопоставит.

Может быть, всё это стоило пережить только для того, что-

бы потом отличить нужное от ненужного?

Первая, кристально чистая и шоковая реакция на измену и была здоровой. Все остальные якобы менее болезненные опыты и попытки с собой договориться, разнообразные способы исправить ситуацию, жертвуя по очереди то печенью, то селезёнкой, то куском мозга, – всё это были дорожки к потере себя.

Помню, я жила на Самотёчной тогда. На высокой горке. Я видела с балкона, как улица устремляется вниз. И, в очередной раз переживая измену, я визуализировала своё ощущение как кровавую розовую пену, которая струится из моего разрезанного горла и капает с балкона на тротуар, оттуда вниз по улице струйкой, которая становится всё сильнее. Струйка превращается в реку, которая заливает собой всю Москву. Москва для меня – город, залитый моей кровью. Город, который знает, как я себя веду в наивысшей точке отчаяния. Город, перед которым мне стыдно.

Отравленная почва

Дисфункциональная любовь – как отравленная почва, на которой ничего никогда не вырастет, сколько ни старайся. Можешь жить в ней годами, а выйдешь ни с чем. Голой выйдешь, в чём мать родила. Ни фотографий толком не останется, ни ярких открыток на память, ни потрясающего дорогостоящего опыта, который потом можно эффектно применить в жизни. Выйдешь нищей.

Но у тебя останется главное – твоя жизнь и драгоценная возможность ей всё-таки распоряжаться. Будешь смотреть на свою судьбу как на пазл из трёх тысяч деталей, который только предстоит начать собирать.

И на самом деле уже в тот миг, в той наготе, ранимости и неприкаянности ты будешь баснословно богатой. Богатой возможностью начать жизнь с нуля, перезапустить системы полностью, проснуться совсем другой женщиной.

У которой планов – до самого горизонта, у которой энергии – до неба, нежности – через край, веселья – хоть ложкой черпай, ума... не знаю, много ли, но точно иногда сможешь написать текст. Такой, что заденет похожие души.

Выйдешь женщиной, которая стоит по пояс в бирюзовой прозрачной воде в Атлантическом океане у побережья солнечной Флориды, смотрит на стаю грандиозных серых пеликанов прямо под облаками, жмурится от радости и слышит

голос любимого: «Эй, обернись, я тебя сфотографирую!» Это будет голос моего Д. Моя история начинается с него. Отчима моей дочери. Пусть слово «отчим» наполнится в этом тексте теплом и заботой.

Любовь, которая сложилась, – это плодородная земля, на которой вырастут берёзки, ёлочки, яблони, пальмы, к вам прилетят даже пеликаны. От неё родятся тысячи историй, сотни картинок, и даже если поссоритесь – связь не прервётся.

Кафе «Ну-Ну»

Москва когда-то казалась мне городом, подходящим для романтики.

Вначале местом действия были продуваемые подъезды и обледеневшие лавки пустынных парков, мы подростками отважно садились на их спинки. Потом они сменились дешёвыми, насквозь прокуренными студенческими кафе и квартирами, свободными на одну ночь от родителей. Позже мы начали снимать себе комнатки и квартирки и строить в них робкие собственные миры.



На «Красных Воротах», на Самотёчной, в Филях, на «Динамо», на проспекте Вернадского, на «Соколе» – везде хотелось испытывать острые чувства. Я даже помню, как снег переливался всеми цветами радуги в пять утра между убогими пятиэтажками на улице Удальцова.

Для меня стало большим сюрпризом, что Москва оказалась обманщицей, ведь я была ей так предана. Но однажды на её месте вырос высокий голубой Нью-Йорк, гремющий поездами, и мне пришлось расшифровывать все смыслы заново.

Одной из первых картинок влюблённости по-нью-йоркски для меня стали они – назовём их условно Стэн и Иззи, Изабелла. Я тайком сфотографировала их в то утро, чтобы позже понять, что в них меня очаровало, но в кафе было слишком темно, кадр смазался.

Они пришли в «Шоколад Ну-Ну» минут на пятнадцать позже меня. Я сидела в тёмном зале на два столика совсем одна и наслаждалась покоем, которого в Нью-Йорке почти не бывает. Ждала дочь неподалёку от школы, в заведении, где продавали бельгийские шоколадные конфеты ручной работы и какао в зелёных глиняных чашках.

Горячий шоколад там был что надо. Тёмный, горький, густой – в нём не было ни сиропов, ни сливок, ни даже коктейльной вишни. Он был крепким, как алкоголь «с дымком», и его было мало, как бывает с эспрессо. Это был скромный магазин сладостей, и в нём обычно никто, кроме меня, не

сидел за столиком.

Думаю, у них было свидание. Стэн и Иззи явно хорошо знали друг друга, но не виделись пять жизней. Ему было лет восемьдесят, но он был лёгким, пластичным и артистичным, как одиннадцатиклассник, поступающий в театральное. Что-то в его мимике и движениях лишало его возраста. Тёмно-коричневый замшевый пиджак с зелёной шёлковой подкладкой. Серебряные длинные волосы, зачёсанные назад, гладко выбритое лицо с мягкими чертами, голубые глаза.

Он сидел за крохотным столом, вальяжно вытянув длинные балетные ноги, сверкал кожаными ботинками, вскидывал нескладные руки, хохотал и, не теряя осанки, приобнимал за плечи Иззи. В ней же ощущалась тайна, она мерцала тёмным кристаллом. Семидесятипятилетняя красавица с голыми щиколотками. Со ступнями, бережно погружёнными в красные бархатные туфли с золотыми пряжками.

Она тоже была седой, волосы убраны назад в пучок, заколка с искусственными алыми цветами, тёмные глаза, три капли косметики на точёном лице. В ней тоже ощущалось что-то театральное и консервативное, будто она была педагогом по сценическому мастерству или танцам. Концертмейстером. Сохранившаяся архитектура шеи, чёткие линии подбородка и оголённых плечей.

На ней было декольтированное светлое ситцевое платье в горох. Дачное, летнее и старое. Она словно вынула из шкафа

вещи, которые были ей к лицу в эпоху виниловых пластинок. Было удивительно наблюдать, как явно в её теле буйствовала молодая душа. И они оба пили горький горячий шоколад в зелёных глиняных чашках. Вернее, почти не прикасались к нему, занятые беседой.

Щебетали, дотрагивались. Все люди, которых тянет друг к другу, – как коты или птицы. Коммуницирующие при помощи своего неведомого языка. Эти тоже были такими. Но мне хотелось вывести корень поинтереснее из этого банального уравнения. Разве может романтика в стремительном Нью-Йорке быть такой – как букет полевых цветов, собранный в лучах заката?

А потом он приложил палец к губам, сказал «тс-с-с-с» и поднёс к уху телефон, как будто в чём-то провинившись. Возможно, Стэн скрывал эту встречу, сбежал на неё под шумок из дома, где ждала давно надоевшая жизнь. После звонка и короткого сухого разговора неведомо с кем они довольно быстро расплатились, собрались и были таковы.

Я видела, как уже на улице он торопливо целовал её – лоб, брови, веки, щёки, губы, шея и открытые плечи. Боль, проступившая на секунду на его лице, и вот, не оборачиваясь, он перебегает дорогу и исчезает в переулках Бруклина. А Иззи идёт в другую сторону. Печальная, медленная, с догорающим огнём внутри. И искра его гаснет с каждым шагом.

Мне кажется, он много лет думал о ней, иначе их возраст не становился бы при контакте таким прозрачным. Их души

точно сцепились на полвека раньше. Но тогда они почему-то не дали себе шанса. И может быть, в кафе с горячим шоколадом они виделись в последний раз.

Я тогда подумала, что в Нью-Йорке тоже полно романтики, только она не подмигивает нам с мега-экранов на Таймсквер, она не разлита по широким авеню. Впрочем, когда и где она была разлита? В Москве она тоже была скрыта. И сцена в плохо освещённой конфетной лавке «Ну-Ну» была той же природы, что и снег, переливающийся всеми цветами радуги между пятиэтажками на улице Удальцова.

И как хорошо, что мы с тобой успели дать нашей истории шанс не в конце жизни, а посередине. И многое ещё впереди. И мы – Стэн и Иззи, только пятьдесят лет назад, и волосы наши ещё чёрные и кудрявые, и платье моё не из пыльного шкафа, а модное, и тебе никуда не надо бежать, у нас весь мир зажат в ладони, и неважно, какой город – место действия.

Письмо себе двадцатитрёхлетней

Привет. Сейчас март того года, когда тебе двадцать три. Москва. «Динамо». Беспощадный серый снег хлещет в лицо, горожане в одинаково безликих тёмных шапках прячут лица в воротники. Так резко стемнело, ты идёшь навстречу выюге и хочешь с ней слиться.

Ты на четвёртом месяце беременности. Ты в этот день поняла, что, скорее всего, останешься с этим фактом одна. Ты будешь тем, кого в угрюмой российской реальности называют матерью-одиночкой. Общество не терпит другого сценария. Ты только что впервые попыталась воспринять мысль, что будущий отец ребёнка, вероятнее всего, не останется с тобой. Ты не знаешь ещё, что ваш путь будет состоять из сотен таких попыток разойтись и восстановиться. Позже ты познакомишься с терминами «круги насилия», «качели абьюза», «холодный душ и сахарное шоу».

Но тогда, в тот момент, этот переворот в отношениях на 180 градусов происходит впервые. Правила за несколько часов меняются на противоположные, и ты должна им следовать, хотя тебя попросту забыли уведомить о переменах. Тем более – их согласовать.

«Сердцу не прикажешь». Ты пытаешься исправить ситуацию.

Ты – старые сбрендившие механические часы, у которых все стрелки идут в разные стороны с дикой скоростью и кукушка не затыкается.

Как ощущается тот март?

Как факт: в жизни случился раскол далеко за пределами твоего понимания. Твоего представления о мире. О том, как людям можно или нельзя обращаться друг с другом. Терапевтка Света позже рассказывала, что именно так психика реагирует на травму – непониманием, как работать, будто бы какой-то механической поломкой. Просто рассердиться или огорчиться – это не травма. Травма – это невозможность обнаружить в своём арсенале необходимый для адекватной реакции инструментарий. Травма значит сломаться.

Как факт: судьба бросила тебе пугающий вызов.

Как факт: надо быть сильной, какой ты не была никогда, но ты ведь беременна, тебе бы – созерцания и нежности.

Как факт: ребёнок, растущий в тебе, станет талисманом. Светом, который проведёт через тьму того жуткого марта.

Я смотрю на тебя из будущего и поверить не могу, что судьба – такая колючая, несправедливая, беспощадная и непостижимая в тот момент – приведёт тебя в результате туда, где ты находишься сейчас.

Что ты будешь жить в далёком городе со взрослеющей дочерью, что рядом с вами будет твой Д., что тебе будут под силу крутые, волевые решения.

Что ты станешь самостоятельной. Что ты нарастишь свой

профессионализм, научишься зарабатывать деньги, узнаешь, что такое привязанность, дружба, сострадание, поддержка, сила, слабость, глубина, энергия.

Сейчас это не получится осознать.

Но в итоге ты не то что не будешь ни о чём жалеть. Ты будешь поражаться остроумию Бога, будешь чокайся с ним игристым и благодарить за то, что всё сложилось именно так.

А пока тебе двадцать три, будущая мама, у тебя круглые щёки, каре каштанового цвета, грустные глаза, серое шерстяное пальто и замёрзшие пальцы, ты наступаешь в слякоть злой Москвы и ты беременна, кто бы тебя обнял.

Прямо в кровь

Летним утром того же года станешь мамой. Слезы смоешь чистейшим высококачественным окситоцином, впрыснутым прямо в кровь. А молоко увлажнит подушку.

Природа неспроста положит тебе в объятия именно крохотную бархатную девочку, С.

Глядя на неё, ты впервые почувствуешь, как много значит твоё присутствие на земле. Ты увидишь, что оно началось с прозрачной, чистой незащитности. И поймёшь, насколько высока твоя цена, раз ты можешь наполнить собой целую маленькую жизнь, мама. Чем так важна твоя роль. Ты молодец. Впереди – много благородной, созидательной работы.

И какое это искажение, сбой в системе – считать, что беременность, роды и молоко – это главы, которые не жалко пропустить, что это страницы, которые мужчине можно пролистать. Которые всегда будут важны только женщине. Что в отношении можно вернуться только пару лет спустя, когда ребёнок подрос.

Будешь вспоминать месяцы, когда осталась с грудным ребёнком одна, как самые важные в жизни. Сюжето-образующие. Личность-формирующие. Душу-раскрывающие. Сознание-расширяющие. Возможности-дарящие.

Материнство – это сила, радость и свет. Свет, сила и радость. Радость, свет и сила.

В школьной раздевалке

Мы с Д. познакомились, когда мне ещё было тринадцать, он был немного старше. Мы вешали мешки для физры в одной школьной раздевалке. А потом как-то встретились глазами и разговорились.

И стали дружить. Это был возраст и время, когда отношения просты. Моя дочка С. утверждает, что взрослым подружиться трудно, а детям достаточно заговорить друг с другом. Так и случилось с нами, в какой-то позапозапрошлой жизни.

Всё, что царило тогда в нашей распускающейся подростковой вселенной, было выражено музыкой. Клипы на MTV, группы «Blur», «Radiohead», «Smashing Pumpkins», «Faith No More», «Garbage», «Red Hot Chili Peppers». Мы много пели, мы запоминали слова наизусть, мы разрешали этим мелодиям определять нас и менять наше сознание, мы были гибкими, как растопленный пластилин.

Жадно взрослеешь, стремишься как можно скорее обрести независимость, вырваться из родительского гнезда, найти собственный мир и систему координат, а потом – опыт-опыт-опыт, мудрость, уроки, гнев, смирение, переломанные крылья.

И вот взрослой встречаешь того, с кем душа зацепилась ещё в детстве, в начале начал, и хочется плакать.

Я хотела делить с ним наушники.

Так странно. Мы ходим на концерты этих групп двадцать лет спустя в Нью-Йорке. Допустим, на «Radiohead» в Мэдисон-сквер-гарден. Это наш способ прожить те годы, что мы были порознь?

Он – взрослый мужчина с сигаретой в зубах, я – женщина, которая чудом не погибла. Кошка, что исчерпала свои девять жизней, но стала так мудра, что хоть библию пиши, свою, кошачью.

Наш роман вышел рваным и непутёвым, а потом он улетел в Америку. Нам тогда, в школе, было отведено всего три года. И мы встретились снова в следующем веке.

Меня греет мысль, что мы с ним с детства. А с другой стороны, это не имеет значения. Можно всю жизнь за одной партой просидеть и так и не совпасть.

Концерт «Radiohead»

Кстати, после того концерта мы, абсолютно пьяные, горланили песни «Radiohead» в каком-то рандомном баре на 34-й улице.

Во всех барах вокруг Мэдисон-сквер-гардена после концерта «Radiohead» щедро ставили Тома Йорка, вот мы и орали до часу ночи. И танцевали. Нашей раскованностью заразился весь бар, и незнакомые люди тоже пели. Даже видео про нас, психов, сняли.

Это я когда-то дала Д. аудиокассету с их альбомом «The Bends», сердито уверяя, что «Radiohead» лучше, чем «Oasis». Именно эта группа нас соединила, её мы слушали детьми. Наше поколение слушало «OK Computer», изучая слова и последовательности аккордов наравне с науками в школе. Выход этой пластинки совпал с вылетом в открытый космос пубертата.

Том Йорк рос и развивался вместе с нами, как любимый умный старший брат. Вторым таким братом был Дэймон Албарн из «Blur».

Когда я поступила в университет, я так увлеклась электронной музыкой и трансовыми вечеринками, что мне было не до «Radiohead». Потом было техно. Потом мне опостытели танцы, и я снова вернулась к гитарной музыке. Но уже было не до того. Я не могла попасть на концерт Тома Йорка.

ка в Праге в 2008-м, потому что только родила и было не до поездок. Я не могла попасть на его концерт в Берлине в 2015-м, хотя уже были куплены билеты, но жизнь диктовала новые правила.

И как-то ни один человек вокруг не догадался, как мне важно было на них всё-таки попасть в этой жизни. А Д. догадался.

«Fake Plastic Trees» из альбома «The Bends». И «Karma Police». И «Exit Music». И «No surprises». И «Idiotique». «There There». «Daydreaming». «The Numbers».

Я даже видео снять толком не смогла, потому что моя душа была слишком занята. А потом мы накидались коктейлями в первом попавшемся баре и пели песни до утра.

А я позже тоже догадалась впервые отвести Д. на концерт Пола Маккартни на стадион «Barclays». Мы сидели так близко, что пели «Hey Jude» и видели мимику сэра Пола. Она была всё та же. Узнаваемая. Он как будто навсегда остался мальчиком.

Сохрани в себе мальчишество

Сохрани в себе мальчишество, my love. Пронеси его морским стёклышком, спрятанным в кармане, через бурю, зной, метель и засуху. Достань его в конце странствия и дай мне увидеть: оно всё ещё с тобой, оно ни на минуту тебя не покидало.

Береги этот изумрудный камень в сердце, как ребёнок бережёт вовсе не дорогую гоночную машину в пластиковой упаковке, а шишку, палку и ракушку – находки, добытые самостоятельно в диалоге с миром, подаренные природой.

Твоё мальчишеское – клад. Вижу искры озорства в твоих больших глазах, несмотря на седину у висков. Такие же точно, какие я улавливала в твоём взгляде в девятом классе. Во дворе около школы. Когда мы ловили снежинки ртами. Сохрани в себе худенького, ранимого, ласкового, колючего мальчика с запада Москвы.

Эти преображения вечером дома – из делового джентльмена в костюме-тройке тонкой шерсти в дурашливого шалопая в клетчатых пижамных штанах. Эти танцы со шваброй под треки Канье Уэста. Наша эйфория перед сном, когда смеёшься, пока не выключится сознание.

Сохрани в себе мальчишеское, даже когда судьба заставит взрослеть.

Даже когда она навесит грузы ответственности на твои

плечи и прикажет действовать увереннее, быстрее и жёстче. Думать об инвестициях, фьючерсах и налогах. Когда бахнет коронавирусом. Когда в тебе проснутся все разом предки по мужской линии и захочется стукнуть кулаком по столу. Когда придёт время выбирать, как надо действовать, чтобы не ударить в грязь лицом, и как стоит жить, чтобы не было потом мучительно стыдно.

А ты закрой глаза, вспомни о стёклышке на дне кармана джинсов и спроси себя четырнадцатилетнего с плеером, двенадцатилетнего с мячиком, пятилетнего с мамой за ручку: как он там?

Как вырасти из мальчика в мужчину и не потерять связи с собой? Как не затвердеть, не утратить чувствительности, не стереть способности слышать и слушать. Сопереживать. Владеть эмпатией как инструментом.

Сохрани в себе мальчишеское. Обнаружь его в песке на пляже Южной Каролины, куда я уехала от тебя в командировку и скучаю, донеси в кармане до дома, положи в коробку, спрячь на далёкую полку и храни – до мига, когда судьба заставит взрослеть.

Оголяясь перед ним

Она вообще существует? Любовь, от которой не больно?

Это правда, что, любя, мы непременно страдаем? Живём на самом изломе, на острие ножа? Что мы не можем иначе?

Оголяясь перед человеком, мы снимаем с себя защитные оболочки. Отдаваясь ему эмоционально, рискуем получить удар прямо в сердце. Занимаясь с ним сексом, сбрасываем заслонки, кожа к коже, и моментально входим в зону предельного риска – уязвимости.

Каким ты выберешь быть со мной? Какой я выберу быть с тобой?

Элино́р

Жизнь вдали от семьи и от родного города, как бы ты ни старалась, оборачивается подсознательным стремлением обрести маму, какой-то её суррогат. А может быть, жизнь и вовсе является таким стремлением, и преуспевающим в ней считается тот, кто быстрее справился с этим неизбежным комплексом ребёнка в поисках чьего-то там безусловного принятия и понимания.

Как бы то ни было, в Нью-Йорке меня магнитом притянула к себе Элино́р Стейнберг. Она годилась мне в матери. Она была психотерапевткой, которую я никогда не смогла бы себе позволить: такие дают консультации за тысячи долларов, а их клиентами становятся кандидаты в президенты, главы корпораций-монстров и их холёная родня.

Но я знала, что придумаю способ связать с ней судьбу, за-долго до переезда в Америку, когда ещё в Москве прочитала её первую статью. Тогда переводную, на русском.

Элино́р писала о сложном – о дисфункциональных отношениях, когда ты в них уже живёшь, находишься внутри и не можешь выйти. Она писала о нарциссическом расстройстве личности. Она умела быть лучом света, разрезающим непроглядную тьму, и я была её поклонницей.

Я представляла себе, что слышу её успокаивающий голос и рассудительный тон, когда читала перед сном написанные

ею, наполненные поддержкой строки о ссорах, вспыхивающих как спички; о резкостях, брошенных друг другу за помпезными семейными ужинами даже в самых роскошных домах; о нарциссизме, рядом с которым, по её мнению, можно научиться жить, но он ранит при этом до крови.

Когда я устроилась работать журналисткой в Нью-Йорке, я стала искать возможность погрузить свой любопытный нос в мир Элинор под профессиональным предлогом. Предлог обнаружился – мне надо было снять очерк о психологах, и я попросила её о короткой реплике для видео. Сердце забилось быстрее, когда я нашла контакты и поняла, что она теперь – в нескольких станциях метро от меня.

Почему она согласилась дать мне интервью? Я до сих пор не знаю. Элинор была закрытой для журналистов. Но в своём письме я написала ей честно, что её тексты помогли мне уехать не оглядываясь. Что в моей жизни были долгие месяцы серого неба над Москвой, а её статьи – тем единственным, что согревало и заставляло просыпаться утром. Даже во время депрессий. Я рассказала, как читала их в далёком российском городе и они тысячу раз объяснили мне трудное.

Так тихим холодным майским полднем обыкновенного нью-йоркского вторника я, в красном пальто поверх белоснежной футболки, оказалась в её чудесном доме в районе Верхний Уэст-Сайд. Она открыла двери сама. Окна монументального трёхэтажного браунстоуна смотрели на Центральный парк, на его медитативную, нетуристическую се-

верную часть; по дорожкам стремились вдаль бегуны в ярких кроссовках.

Кабинет Элиноর был с пола до потолка уставлен книгами, а сама она сидела у зажжённого камина в старинном кресле, на её плечи была накинута зелёная шерстяная шаль. Шаль контрастировала с копной рыжих кудрей и жемчужной кожей. Из-за очков на меня смотрели озорные зелёные глаза американской шестидесятницы, пропустившей через сознание эпоху психоделиков и хиппи; от неё веяло свободой, вечным иммунитетом к старости.

Читая умные, чуткие и тёплые статьи Элинор Стейнберг в Москве, я и представить себе не могла, что столкнусь нос к носу с 63-летней красавицей и путеводной звездой, которая обнимет меня при встрече, как подругу. Предложит занять удобное место в её дамблдорском кабинете, сделает нам с оператором кофе в хрупких итальянских чашках и, когда мы включим камеру, начнёт разговор со мной, как волшебник Изумрудного города с Элли. В ней тоже был гипноз, но она, в отличие от него, не была мошенницей.

В старой нью-йоркской квартире, наполненной учебниками по психиатрии и психологии, в ламповом мире американской учёной леди с заветными буквами «PHD» на двери мне будто открылся портал в другое измерение. Где человек родительского поколения чуть ли не впервые за всю жизнь говорил со мной на языке, в котором не было ни обвинений, ни осуждения, ни долженствований, ни непонимания, ни ис-

пуга.

Элинор смекнула, что я пришла к ней как журналистка только формально. Она догадалась, что у меня много более глубоких вопросов к ней, по тому, как я взяла кофе из её рук. И она лечила меня словами. Объясняла, слушала, рассказывала истории женщин, которых судьба столкнула с нарциссизмом: о жёнах влиятельных брокеров с Уолл-стрит и обладателей трастовых фондов, о судьбах художников, актёров, писателей, учёных, бизнесменов, юристов.

Все они тоже не сразу знали, как вести себя в ситуации, когда партнёр резко меняет поведение от приторно-сладкого до режущее-ледяного. Спина многих, как и моя, изогнулась за годы в уродливую закорючку знака вопроса, несмотря на ум, талант и статус. Элинор говорила, что считывает клиентов сразу же, когда они входят в её прекрасный старый дом, видят книги, камин и зелёную шаль, когда им предлагают устроиться поудобнее.

Во мне же она увидела себя в молодости. Она сказала: я узнаю тревогу в твоём сердце, я понимаю, какой ценой тебе дался мажор. Я спросила её, почему она занимается нарциссическим расстройством личности, ведь ни один человек не выберет эту тему просто так. А она ответила, что такой была её мама и её первый муж. Она хотела разобраться в самых близких людях, которые резали её как хорошо отточенными ножами. И стала самым сильным в Нью-Йорке терапевтом по этой теме.

Так вместо короткого видео я получила полтора часа интимного разговора о том, что прежде хранилось для меня под замком, я получила сессию, которая стоила миллион долларов. Разговор о тайнах за семью печатями. Полмира пролететь, чтобы в каменном доме около Центрального парка найти родственную душу – и она внезапно утешит, как несуществующая идеальная мама, эталонный психотерапевт, который накроет меня принятием, зелёной шалью покоя и безопасности.

Скажет: пережитое было нормальным.

Скажет: ты никогда не была виновата.

Скажет: теперь тебе обеспечен полёт.

Элино́р смеялась, ставила песню «I'll do it my way» Фрэнка Синатры и говорила, что это гимн всех нарциссических личностей мира. Она околдовала меня умом и иронией. Именно она и сняла с меня окончательно заклятие прошлой жизни. И, выйдя из её дома тем холодным майским утром, я расправила плечи и поняла, что готова к другой версии любви.

Видео с синхронем Элино́р вышло через две недели, из полутора часов в интервью вошло только несколько минут, но я и не переживала. Мне, наоборот, жадно хотелось оставить её слова себе. Эта украдкой вырванная у судьбы терапевтическая сессия с самой могущественной ведьмой мира была только моей, рыжеволосая и зеленоглазая Элино́р улыбалась в то утро одному человеку, её слова больше никому не нужны были так.

А спустя месяц я получила от Элинор письмо. Она сообщила, что ей хотелось бы стать моим другом и что она была бы рада прогулке по Центральному парку в компании мужей. Что она мечтает познакомиться с моим Д. Что общение могло бы стать интересным приключением для всех. Послание заканчивалось словами: «Хочу пожелать тебе никогда больше не подвергать себя сомнению». Я не волшебница, Элинор, только учусь. Но, кажется, у меня получается. Например, у меня появилась такая подруга.

Как разъярённая волчица

Быть женщиной. Говорили – быть нежной, полупрозрачной, шёлковой, чтобы голос мурлыкающий и вечно волшебное настроение, чтобы прикосновение твоё было словно кончиком пёрышка по коже, вставшей пупырышками.

Оказалось, быть женщиной – это уметь давать отпор и говорить «нет», сжимать кулак, даже если и внутри кармана в данный момент. В Америке используют классное прилагательное tough – «таф»: быть сильной, жёсткой, быть, если нужно, злой, стоять за себя, защищать, отпугивать идиотов сурово изогнутой бровью. Знать свои границы.

Говорили, быть женщиной – это искать и успешно находить себе любимого. Чтобы ласковый был и добрый, чтобы, как обещала моя мама, «хороший мальчик», книги, там, на полках, правильная кассета в плеере, и чтобы не курил сигареты, и разговаривал учтиво, чтобы было на чью широкую грудь положить вечером голову.

Оказалось, быть женщиной – это уметь справляться даже с самым сложным и скалиться, как разъярённая волчица, если того требуют обстоятельства, получать удовольствие и даже удовлетворение от самой себя, зажигать вечером душистую свечку и бесстыже кайфовать, даже если нет никого, кому положить голову на грудь.

Говорили, быть женщиной – это материнство, мол, при-

дёт день, и станешь мамочкой. При папочке. Нет же для женщины дня счастливее, и проснёшься в роддоме королевой: я смогла, инициация пройдена, и теперь весь мир падёт к моим ногам, я привела в этот мир человеческую душу, преклоните колено, как перед Кхалиси, подарите бриллиант.

Оказалось, материнство – это знать, что каждый час, каждую минуту и секунду этой жизни ты можешь остаться с ребёнком одна, наглухо ненужная второй половине события, просто так это устроено, and that's the way it is¹. Материнство – это умение замкнуть на себе обе энергии, мужскую и женскую.

Говорили, быть женщиной – это вечно присутствовать таинственным гулким эхом, уметь соответствовать, эффективно оттенять, подчёркивать его достоинства, быть спутницей, подругой жизни и элитным выбором.

Оказалось, быть ей – дорога рыцаря, путь самурая. Пусть и бархатного временами, и с нежным голосом, и пёрышком по коже тоже можем. Было бы желание. И цель.

¹ Ничего не поделаешь. Здесь и далее пер. с англ.

Холодное сердце

Память рисует зиму в Москве, серую мглу во дворе, мою белую замёрзшую за ночь машину. Я завожу её, чтобы грелась, сажаю четырёх-, пяти-, шестилетнюю дочку С. на заднее сиденье в детское кресло, включаю ей саундтрек из «Холодного сердца» и сцарапываю толстую наледь с лобового стекла.

Как много раз мы оставались одни. В холоде новогодней Москвы, укрываясь мамско-детскими объятиями, как тяжёлым пуховым одеялом. Помнишь, такое, особенно тёплое, бордовое, доставала из шкафа бабушка ближе к декабрю, и ты сама ребёнком в нём будто бы утопала?

Ты уже не ребёнок, ты мама, и пуховое одеяло – это та важная эмоция, оставшаяся в родном городе, интимная, шёпотом, серебряной ниточкой зимы, связью мамы и дочери, живущих большую часть времени вдвоём. Мир одной маленькой семьи, так долго продержавшейся молодцом на девчачьих ногах. Розовые детские зимние сапоги-дутики на липучках.

Мы несёмся по январской Москве, открыв окна автомобиля, и горланим «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце». Хочу никогда не забыть, как много магии я высекла сама из себя тогда, будучи одинокой мамой в Москве десятых годов.

Символом свой одинокости тогда назначаю лязгающее техно в клубе «Солянка» – единственную вечеринку, куда я умудрилась выбраться на два часа за два первых года. Когда малышка достаточно подросла, чтобы я иногда могла оставить её у родителей. Помню своё материнское откормившее тело на танцполе и недоумение в каждом его мускуле – привычные когда-то движения стали мне будто бы малы, я выросла из тех ритмов, которые нравились мне до родов. Я тогда пыталась как-то подобрать пароль к старым ощущениям, но не смогла. Те ощущения больше не работали. В итоге я замерла одна посреди этих танцев, пробралась к выходу через толпу, а потом вышла из громыхающего клуба, поймала такси и поехала к ребёнку. И слушала по дороге домой «Отпусти и забудь» в плеере. Я тогда отчётливо поняла, что слишком сильно изменилась и искать счастье по старым адресам бесполезно.

Символом своей неодинокости назначаю момент, когда я приехала той ночью домой и посмотрела в кроватку, где спала моя дочка. Почему не пишут книги о том, как много ярчайшего, насыщенного, ядрёного удовлетворения в той любви, которую приносит материнство, пускай даже и без партнёра в данный период жизни? Почему так клеймят этот и без того робкий, чудесный свет, который возникает в маленькой семье, где один родитель?

И даже если опять плачешь, ты видишь своего ребёнка, уже проснувшегося, прибежавшего с утра показать тебе ри-

сунок, например с принцессой Эльзой – и боль как будто заливает теплом, и подступившие слёзы уходят.

Всесильные чары, невидимые никому в эти полярные ночи. Только тебе и твоему ребёнку. Только мамы-воины знают, какова реальная цена материнскому намерению во что бы то ни стало защитить.

Чего бы это ни стоило, показать жизнь всё-таки волшебной, полной тепла, смеха. А не жестокости, глупости и бесстыжего равнодушия. Только мамы, которые оставались с детьми вдвоём, ощущают, какова реальная цена партнёрству.

Не такому, которое давно мёртво и пытается притворяться живым. Которого и не было никогда. А такому, из которого рождается семья. В ней сердца этих двух девочек и правда оттают. Сколько доверия и незащитности было в наших с дочкой взглядах тогда и сколько уверенности – сейчас.

Домой, в Нью-Йорк

Сейчас мы мчим по заснеженным шоссе Пенсильвании домой, обратно в Нью-Йорк! Домой – в Нью-Йорк, ха. Мы путешествуем теперь по Америке. Я, моя дочка С. и мой Д. Нас трое.

Кто бы мне сказал, что я смогу написать такую фразу. Всего три года назад я была той, о ком удобно писать сценарии, моя реальность стала эффектной пародией на мои же мечты.

Вся на изломе. Но с бокалом вина в руке с тонким запястьем. Булгаковская Маргарита с затуманенной судьбой.

Всего три года назад я не знала, как жить дальше. Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя, и коня потеряешь.

Тупик – не страшное слово, когда печатаешь его в текстовом приложении в айфоне. Тупик – пугающая действительность, когда ты уже взрослая, отношения явно не сложились, но ты всё ещё зачем-то маринуешься в них, не решаясь на разрыв.

Разрыв становится почти невозможным в лабиринте манипуляций, ты бегаешь по своей ситуации, как белка по колесу, не осознавая, что надо просто сорвать стоп-кран.

Нет, слово «просто» тут неуместно.

Три года назад я забыла кольцо около раковины в уборной

на работе. Это был подарок от отца моей дочери, я всё ещё хранила этот подарок при себе, хоть мы уже были в разводе. Хоть мы уже расстались. Хоть я уже оплакала несостоятельность нашего союза и увидела свою ситуацию со стороны благодаря психотерапии. Но я всё ещё была в тех отношениях. И я всё ещё хранила кольцо. И я его потеряла.

Я забыла его в уборной в редакции, и его тут же украли. Искать было бесполезно. И я плакала тогда, что лишаюсь важного символа, но в действительности со мной таким образом окончательно попрощалось прошлое.

Спустя неделю после той утраты я купила билет в Нью-Йорк, чтобы навестить наконец-то мою подружку А.

Неужели она ещё не появлялась в этом тексте?

Она, родная мне с самого детства, переехала в город на Атлантике на два года раньше. Вдвоём с маленьким сыном. После своего развода. Это она придумала Нью-Йорк как жизненный сценарий.

Когда она улетала из Москвы с ребёнком, я волновалась за неё, ощущая, что она устремляется в никуда, и дала контакты всех, кого знаю там, чтобы ей не было настолько страшно.

Среди этих контактов был мой Д., которого я не видела к тому времени почти двадцать лет и о котором почти ничего не знала. Так возобновилась наша связь. Это моя подружка А. начала первая общаться с ним. Это она привела его на встречу со мной два года спустя, когда я решила наконец-то её навестить.

И вот ты летишь в неведомый стеклянный Нью-Йорк, чтобы сменить на неделю декорацию. У тебя ужасное настроение. Ты потеряла кольцо, символ отношений, которые угасли. Ты не ждёшь от действительности ничего хорошего, потому что она уже слишком много раз тебя подвела. А потом благодаря подруге встречаешь в баре, в недрах хипстерского Вильямсбурга, человека. Вначале наша связь попыталась притвориться дружбой, как тогда в детстве, в раздевалке.

«Как ты там? Как ты прожила эти два десятка лет? Последний звонок? Университет? Первая работа? Командировки? Трансовые вечеринки? Психоделики? Тексты? Прямые эфиры? Отношения?»

Я хорошо помню тот вечер, разноцветные лампочки во дворе бара, мы – последние посетители – болтаем до самого закрытия. Мне так странно было узнавать голос Д., который я слышала в последний раз до этого на стыке детства и юности. Моя дочка скоро дорастёт до того возраста, в котором мы когда-то попрощались.

Он сказал «было так хорошо» на прощание. А потом я улетела обратно в Москву, но душа моя уже начала от неё отрываться. Почти весь остаток 2016 года, до того самого октября, я летала туда-обратно, из Москвы в Нью-Йорк.

А теперь я называю его домом.

Старина Эрл

У меня в Нью-Йорке было много «проводников», но одним из первых стал старина Эрл.

Я нашла его случайно, гуляя с моей подружкой А. во время одного из первых визитов. Я тогда ещё только присматривалась к городу.

Моя стремительная и деловая А. всегда составляла чёткое расписание на каждый час. Даже когда мы расслабленно шатались с ней по улицам, вначале ещё девочками по Москве, а потом уже и молодыми женщинами – по Нью-Йорку.

Она переехала на другой край мира первой, с трёхлетним хулиганистым мальчишкой за руку. И да, это она научила меня всё в жизни смело переворачивать вверх дном, если есть подозрение, что может быть лучше.

Я, от природы более замедленная и расхлябанная, обычно следовала плану подружки А. И в её план всегда было включено что-то интересное.

Тем солнечным сентябрьским утром мы собирались провести ровно два часа в музее Уитни, сфотографироваться на его восхитительной крыше с видом на Челси и реку Гудзон. Потом пройти по парку Хайлайн, растянувшемуся вдоль бывшей промышленной железной дороги, и перекусить такос.

Я ещё совсем не знала города и смотрела на него глазами

туристки из Москвы, впитавшей много книг и кино. А вот А. уже была настоящей жительницей «Большого яблока». Как сейчас помню их, стоящих на платформе поезда «В» вдвоём с сыном: они – мама и мальчик – напоминали мне о сцене из романа «Щегол» Донны Тартт.

Но в то утро А. была без ребёнка, мы были вдвоём, и она в своём не терпящем возражений стиле внезапно сказала, что мы должны прервать наш прогулочный маршрут буквально на пятнадцать минут и заскочить куда-то по делу. «Делом» оказался крохотный офис на каком-то седьмом с половиной этаже бизнес-здания из пятидесятых, без окошек и без дверей, но с позолоченным лифтом.

Там-то я и увидела старину Эрла. Это был его «офис» – коробка метр на метр, от пола до потолка усыпанная гвоздиками, гаечками, шестерёнками, ключиками и увеличительными стёклами. Старик был часовщиком. А. хотела сделать сюрприз своему бойфренду и запустить его давно вставшие ролексы, она нашла старину Эрла по объявлению на последней странице бесплатного журнала. Ему было 95 лет, и, судя по новостным вырезкам на стенах его бюро, он трудился часовых дел мастером всю жизнь.

Этот дух, будто бы материализовавшийся минуту назад в безлюдном коридоре старого здания, был очень худым, почти прозрачным, белоснежно-седым, ухоженным. Каким ещё? Он был не принадлежащим этому времени, словно существовал в кадре плёночного фильма. Он был осколком

прошлого, которое так ценят в Америке. Коренным горожанином.

Клетчатую фланелевую рубашку пересекали бордовые подтяжки, на брюках отчётливо выделялись выглаженные стрелки, а тёмно-коричневые кожаные туфли явно протирались несколько раз в день. Медленно, будто бы в медитации, разбирая внутренности дорогих часов под огромным увеличителем, старина Эрл болтал с нами о всяком.

«Меня зовут старина Эрл, я здесь каждый день с семи утра до трёх тридцати, но в районе полудня ко мне выстраивается очередь. В основном это мужчины в костюмах и галстуках, работающие на Уолл-стрит. Они приходят во время обеденного перерыва починить часы. Вы у меня – единственные клиентки-женщины за сутки. Я думаю, что Нью-Йорк – а если быть точнее, Уолл-стрит – для мужчин, потому что он символизирует деньги и статусы, но если вам всё-таки удастся поймать здесь за хвост серьёзное чувство, город перестанет давить на вас суетой и теснотой, он словно наполнится воздухом и превратится в воздушный корабль, и время замрёт для вас».

Я ухмыльнулась тогда, замечая сексизм даже в самых ярких, самых книжных персонажах реальности, а потом подумала, что старшее поколение всё равно не переделать, и их убеждения – неотъемлемые элементы их портретов.

Это был мой последний туристический визит в город. В следующий раз я приехала в Америку уже с дочкой за руку.

И мы остались. Сцен из романа Донны Тартт у меня не было, мы сразу жили вместе. Именно тогда я начала понимать, что слово «отчим» в нашем жизненном сценарии будет наполнено светом.

Наша спонтанная эмиграция стала результатом поиска своего человека, партнёрства и уважения в отношениях. Ты их ищешь, ищешь рядом с собой, а они находятся на другом краю земли.

Этот переезд не был связан с деньгами и статусами. Он был странствием, которое завершалось нашей маленькой квартирой с видом на Бруклинскую академию музыки и восходом, который будил каждое утро в шесть.

В первые дни я смотрела на этот новый мир, который заливало на рассвете золотым, и вспоминала старину Эрла. Наш дом – это и правда воздушный корабль, где не замечают часов, потому что только здесь и сейчас – мера всем ощущениям.

А ещё важно было иметь подружку А., которая скажет покупать билет в Нью-Йорк и ничего не бояться. Это её сумасшедшая энергия повела в нужном направлении.

В каком?

Да просто вперёд, как бы ни было страшно.

Но перед тем как у нас появилась квартира в Бруклине, была ещё та маленькая студия в Сохо, которая теперь вспоминается как сон.

Студия в Сохо

Закрываю глаза и вижу себя в тот период, когда я ещё ездила туда-сюда, полгода спустя после нашей первой встречи с Д. в Нью-Йорке, – взъерошенную, с округлёнными от удивления глазами, наступившую на серую брусчатку Нижнего Манхэттена. Тогда же, когда мне встретился старина Эрл.

Пьяный август, вереницы браунстоунов со стальным чёрным кружевом пожарных лестниц. И воздух плавится, а мы сняли крохотную художественную студию в Сохо – наше первое пристанище, куда и он, и я ещё сбегаем из своих старых жизней. Я приезжаю к тебе, пока ещё без дочки, наш железный балкон над узкой шумной улицей.

Мы вылезаем на этот балкон через приоткрытое окно, я вижу твой профиль, освещённый неоновой вывеской, а ты куришь.

Я приехала к тебе в Нью-Йорк как любимая. Наша дружба трансформировалась во взрослое «ах!».

И бархатные листья фикуса танцуют под потоками воздуха от вентилятора.

И этот вентилятор – при сорокаградусной жаре, без него мы бы, наверное, не выжили.

И невероятная духота.

И влажность.



Незнакомые белые простыни, надувающиеся над нами.

И звенящий зной на улице, и платье прилипает к телу.

А я пытаюсь записывать то, что происходит. Потому что мне тогда ещё кажется: каждая секунда – на вес золота. Я ещё не знаю, что наше время будет измеряться годами. Я при-
выкла, что время рваное, что моя жизнь – это качели, и два
дня радости – это клад, который надо зарыть на морском дне.
В блокноте. В квадратиках инстаграма.

И с океана – ветра́. И верхушки небоскрёбов – в небе вме-
сто звёзд, и полицейские сирены – вместо птичьих голосов.
Пешком три пролёта по узкой деревянной лестнице – наверх
с огромным чемоданом, в наше логово в самом центре мира
и в секрете ото всех. В нашу студию в Сохо.

Совсем ничего не знала тогда об этом стеклянно-кирпич-
ном городе, кроме факта: кажется, мне в нём жить, кажется,
мой дом сам выбрал меня, Бог устал слушать просьбы и лег-
чайшим штрихом кисти полностью изменил картину жизни,
он – настоящий художник, когда хочет.

А в Москве остался свой вечный август. Тихий наш зарос-
ший дачный участок в Покровке. Дальний вой бензопилы.
Крупные тяжёлые бусины драгоценных зелёных яблок на де-
ревьях, посаженных ещё дедушкой.

Окна террасы, светящиеся в ночи, фырканье ежей у лес-
ной калитки.

Черноплодка, белые ядра орехов и море подмосковных

летних звёзд над головой.

Кто ж мог знать, что реальность раздвоится, а жизнь разделится, как будто два сердца у меня теперь, одно – в Нью-Йорке, а второе – в Москве. И даже под Москвой, за поворотом с Ленинградки налево, в старом зелёном деревянном домике в садовом товариществе, на даче, в точке безвременья детства.

Где всегда одинаково колышутся высоченные ели над головой. Где я лежу в гамаке с книгой и мне – несколько лет или сразу тысяча...

Под шелестящими платьями

Под шелестящими платьями с глубоким декольте, которые подбираешь теперь специально для похода в Метрополитен-оперу. Под высокими причёсками, из которых выбивается прядь. Под тонкими пальто. Под очками-«мухами» и широкополыми шляпами, не носить которые в Нью-Йорке – это грех. Под прохладным шёлком пастельных оттенков, из которого сшиты твои новые блузки – нежно-фисташковая, бледно-синяя, аспидно-серая. Под нитками белого жемчуга...

Подо всей этой бутафорией бьётся сердце смешной хмурой девочки.

Той же самой, которая любила тринадцатилеткой на даче дожидаться заветного часа, пока бабушка с дедушкой заснут, и уйти гулять в лес. Сердце той девочки, которая выросла в огромной, весёлой и шумной многодетной семье, а в результате познала цену настоящего одиночества.

Сердце той девочки, которая снимала на поляне сандалии и наступала розовыми пятками на подмосковную траву, которая боялась раздавить землянику и пристально высматривала её красные крапинки под листьями с зубчатыми краями. Которая лежала на лужайке и смотрела, жмурясь, на солнце. Слушала жужжание шмеля.

Не забывать, что эта девочка никуда не ушла от тебя, что

она тут и это её сердце бьётся в твоей груди. Это те же руки, которые обнимали маму, и мама была тридцати шести лет от роду, как ты сейчас, и не было ещё твоей дочки и её внучки.

Эта мама из твоих воспоминаний была с длинными каштановыми волосами, ты выжидала её у деревянного забора дачи, вот-вот из-за поворота появится машина, это родители едут из города. Ты – загорелая нечёсаная школьница у ограды участка в шесть соток, смотрящая на дорогу.

Воспоминание столетней давности, где и лето, и дача, и остеклённая дедушкой терраса, и бесчисленные окна её открыты, и полупрозрачные занавески с оранжевой каймой, выбранные в середине прошлого века бабушкой, развеваются на ветру.

Ты сидишь на коленях у приехавшей наконец-то мамы – какого маленького размера смешная ты, июньская ненакрашенная взъерошенная мама, дошкольный возраст и пыль в солнечном луче поутру.

Эта девочка никуда не уходила в переходном возрасте, она осталась, разговаривай с ней чаще. Или пусть она сама говорит с тобой. Из любого возраста, включая переходный.

Письмо от себя шестнадцатилетней

Привет, я сижу сейчас за полированным деревянным столом, который некогда был папиным, Москва, миллениум, зима, передо мной пизанские башни учебников по литературе и русскому, тетради, исписанные косыми конспектами, мои пальцы устали строчить, я плохо спала, я через силу готовлюсь к поступлению, и мне трудно жить.

Д. уехал в Америку, и вместе с ним закончилось что-то детское в моём жизненном приключении. Я влюбилась во взрослого человека.

Конечно, я не знаю ещё, что тот год – 11-й класс и одновременно поступление в университет – станет одним из самых сложных в жизни. Мне никто не объяснил, что и пятнадцать лет спустя я буду вспоминать ту часть пути с содроганием. Лютая, беспощадная влюблённость и поступление, экзамен во взрослую жизнь. Я ничего этого не выбирала.

Мне шестнадцать. Как я вижу свою жизнь? Кто я и в чём смысл навязываемой мне ответственности? Я едва решаюсь наступить на канат над пропастью. С зажмуренными глазами, вперёд.

Я вдыхаю январский воздух Москвы и выдыхаю пар в тёмные переулки обледеневшей Таганки, он держит мою руку в

нелепой вязаной варежке, и эти мгновения замрут в памяти навсегда.

У меня начинаются первые серьёзные отношения, мне шестнадцать, мир предъявляет ко мне так много требований, что я лучше не выполняю ни одно. Курить дома у мамы в форточку. Москва ещё до интернета.



Но вскакивать опять — в пять, не спала рядом с ним, сделать литературу, ехать к одиннадцати к репетитору, чтоб несчастное влюблённое тело погрузилось в метро в утренний час пик, в пуховике, глотая слёзы до самого севера столицы, и мой единственный союзник в этой битве с реальностью — плеер, я задыхаюсь от нежности.

Во мне шестнадцатилетней грохочут океаны, сходят густые снежные лавины, полыхают леса, и свобода ограничивается даже не письменным столом, а дневником в ящике стола. Живу с родителями, каждую минуту в комнату могут войти без стука, и у меня нет ответов на их вопросы.

Как я доберусь до вершины горы, на которой теперь обитаешь ты? Откуда будет смелость писать тексты? Где начнётся эта уверенность? В какой момент я перестану бояться маму? Братьев? Неужели чувства и правда станут однажды взаимными? Как я найду обратно своего Д.?

Мне шестнадцать, протяни ко мне руку из будущего, погладь по мятежной макушке и успокой...

Винтажный плакат

А взрослая и самодостаточная я успокаиваю себя тем, что брожу по Нью-Йорку и испытываю трепет, сливаясь с ним. Словно стирая свою прежнюю идентичность и обретая новую, согласно которой я – чистый лист, на котором надо писать историю заново.

Забираю свой драгоценный винтажный плакат из багетной мастерской на Чемберс-стрит. Мастерской с виду не меньше ста лет, пахнет клеем, древесиной и чем-то затхлым. На ободранной стене за стойкой продавца – выцветшая фотография на документ Мэрил Стрип и её небрежный автограф.

«Энцо – от Мэрил».

И пока хозяин итальянец Энцо неторопливо упаковывает мой немаленький трофей, оборачивает его острые углы (я выбрала тёмно-коричневую дубовую рамку) и прокладывает мягким текстилем стекло, со мной завязывает разговор другой их клиент.

Сухой, скрюченный и маленький дед, глаза которого увеличены раза в три очками. По его лицу будто бы видно, что характер скверный. Он распечатывает свои фотографии из недавнего путешествия в Европу.

«Это чего у вас, Боб Дилан, что ли, на постере?» – спрашивает.

Я отвечаю, что да, это он.

«Знаешь, деточка, сколько раз я был на концертах Боба Дилана?»

«Сколько?»

«Ну, раз пятьдесят точно был. Раньше слушать его было куда приятнее!» – и смеётся хрипло, а смех переходит в неистовый кашель курильщика.

Откашлялся.

«Какая твоя любимая песня?»

«„Visions of Johanna!“ Я полюбила её после того, как прочитала текст!»

А он посмотрел в пустоту с полминуты и давай петь её своим неюным тембром и мимо нот.

«Знаешь, какое настоящее имя Боба Дилана? Не знаешь... Роберт Аллен Циммерман его имя. Мальчишка из Миннесоты. Мой школьный друг. Еврей. Как и я...»

Этот пожилой мужчина, Джейкоб, оказался старинным приятелем Боба Дилана. Выпускник Колумбии, адвокат, который уже около сорока лет живёт в Нью-Йорке и видел, как тот кипел в шестидесятые. С тех пор в его шкафу хранятся разноцветные футболки с фестиваля «Вудсток».

«Знаешь такой?»

«Знаю».

И свою жену Джинну он впервые там и поцеловал, по колёно в грязи и среди палаток. Волосы их тогда были длинными, а ожидания – грандиозными.

Своего друга Боба, получившего Нобелевку за поэзию, он в последний раз видел за кулисами после концерта, когда привёл свою трёхлетнюю внучку знакомиться.

А потом старый Джейкоб вдруг подмигнул хозяину фотомастерской: «Ты прости, Энцо, что я заболтал твою покупательницу, хотя, мне кажется, ей было интересно».

Мне было интересно, да. Я, выросшая в России, ещё не встречала людей старшего поколения, которые прошли через психоделическую революцию и познали такую степень раскрепощения.

И ушёл. Я ему вслед: «Have a great evening, sir!»

Даже не обернулся.

А плакат у меня правда крутой. Тонкий чёрно-белый профиль Боба Дилана, а вместо шапки выющихся волос – разноцветный взрыв элэдэшных флуоресцентных полосок во все стороны.

Я купила его в огромном магазине старых постеров, который правильнее было бы назвать музеем. Лавкой чудес. Там были плакаты с ретрорекламой бакарди, мартини и абсолюта, консервов, кока-колы и премьеры «Головокружения» Альфреда Хичкока. Пин-ап-модели, поп-арт-предметы.

Я утонула в этом магазине часа на полтора, копаясь в их электронном каталоге и выбирая, что же украсит белую стену нашего первого совместного дома.

Дэвид Боуи? Бумажная реклама «OK Computer» «Radiohead» девяносто седьмого года? Афиша кукольного

спектакля «Кот в сапогах» в Варшаве шестьдесят третьего?

Но я выбрала Боба Дилана, потому что его постоянно слушал Д. Он присылал мне его песни и тексты, когда я ещё жила в Москве, и наши отношения на расстоянии, между поездками, превратились в жонглирование словами, музыкой, стихами и тысячами, десятками тысяч сообщений. Мы словно обменивались всей той информацией, что накопилась у обоих за годы, пока мы не виделись.

И прежде чем мы оба стали чистыми листами, на которых предстояло возникнуть книге наших новых совместных приключений, мы показали друг другу свои старые страницы. В том числе и те страницы, от которых становилось больно.

Канатоходец

Я – гимнаст Тибул, канатоходец, который виртуозно удерживает баланс. Я испытываю гордость оттого, что научилась справляться с жизнью. Никогда прежде у меня не получалось так хорошо.

Я не похожа на ту якобы уверенную шестнадцатилетнюю себя, которая бросалась навстречу любым приключениям, совсем не ощущая опасности, не умея себя беречь, не зная, зачем вообще нужно такое умение. Клювом – в землю. Сразу тысяча травм, а потом – годы на реабилитацию.

Я не похожа больше на ту доверчивую двадцатитрёхлетнюю беременную девушку, которая не верит, что кто-то может её не любить, не желать ей добра, не испытывать трепета в груди, когда она говорит «ты делаешь мне больно сейчас!».

Зря романтизируют юность и раннюю молодость, настоящее равновесие начнёшь ощущать намного позже. Когда ты станешь взрослой.

И именно поэтому ты и справишься.

Теперь я знаю, что главный человек, которому должна быть небезразлична фраза «ты делаешь мне больно сейчас», – это я сама. Я обещаю себе сделать всё, что только в моих силах, чтобы эта оптика не сбилась снова. Я надеюсь и дальше владеть этим инструментом, камертоном по отношению к себе.

Что мне правда нравится, а что – нет.

Как со мной можно, а как – не стоит.

Что я прощу, а что я не прощу никогда и даже не буду тратить время на размышления.

За что я готова ненавидеть.

Что мне неинтересно.

Где я правда виновата, а где моя совесть чиста, сколько бы злых слов мне ни сказали.

Эта уверенность, выкристаллизованная собственным опытом, бесценна. Хорошо бы её не растерять. Не откатиться обратно в состояние птицы. Потому что она хоть и более трепетная была, та птица, но выжила, откровенно говоря, чудом.

Кто ты?

Почему у тебя такие большие руки?

Чтобы надёжнее обнимать тебя, чтобы ты ощущала себя в безопасности, чтобы ты не задохнулась, а, наоборот, чувствовала себя способной на всё, но я защищаю тебя, знай, и это лапы у меня, а не руки.

Почему у тебя такие большие глаза?

Чтобы лучше видеть тебя. Любоваться походкой, всматриваться в черты лица, приветствовать твоё отражение в зеркале, видеть, как ты накручиваешь на конусообразную пloyку прядь волос, хвалишь каждую частичку тела, вдруг твои родители не были щедры на комплименты, теперь я за них, а что за браслет такой красивый на левом запястье?

Почему у тебя такие большие уши?

Чтобы слушать тебя. И слышать. Не заглушили ли сердце ещё в детстве, и потому тебе так трудно понимать себя? Не к нему ли дорогу ты ищешь всю жизнь? Я буду слушать твою интуицию и учить тебя распознавать её робкий голос, лучшие советы ты дашь себе сама, но позже, этому нужно научиться, и я здесь, чтобы помочь.

Почему у тебя такое сбивчивое дыхание?

Потому что долго пришлось бежать вслед за тобой. Пока ты торопилась жить и неслась сломя голову навстречу любому опыту, мне было трудно догнать тебя, приходилось пле-

стись сзади, разве твоя скорость допускала моё существование? Только сейчас, когда ты сама притормозила и перешла на другой, более вдумчивый ритм, стало возможно сравняться с тобой. Ну и вот, здравствуй. Я всю жизнь рядом, только ты раньше не замечала.

Почему у тебя такой одинокий вид?

Потому что во мне есть одиночество. Только приняв, осознав и полюбив его, ты сможешь идти вперёд, не впадать больше в зависимости, осознавать, что в крайнем случае у тебя всегда есть ты, и это не одиночество-наедине-с-собой.

Почему у тебя такие огромные, страшные, острые зубы?

Потому что я и правда волк, и я разорву в клочья любого, кто покусится на тебя. Я защищаю тебя, твой покой и границы.

Кто ты?

Я – твоё собственное внимание к себе. И я бреду серым волком рядом, погладь меня.

Мистер Уилсон

Когда я думаю о любви как об изобилии, о щедрости, о плодородной почве, я часто вспоминаю мистера Уилсона. Я, можно сказать, медитировала, глядя на него первые несколько месяцев в Нью-Йорке, когда ожидала дочку, мою С., после уроков в нашей бруклинской начальной школе.

Мистер Уилсон не имел к нам никакого отношения, он был воспитателем в pre-k – это младшая группа детского сада. Крошек вереницами приводили в актовый зал за полчаса до того, как вниз спускались школьники и среди них – моя третьеклассница. И пока малышей по очереди разбирали родители, с ними играл он.

Мистер Уилсон обладал модельной афроамериканской внешностью. Мужчина – обложка глянцевого журнала, мужчина – роль в голливудском кино, мужчина – показ нью-йоркской Недели моды. Стройный, подкачанный, холёный. Лев, пружинящий на крепких надёжных лапах. Смешной, лет, наверное, сорока.

В такого легко можно было бы влюбиться, можно было бы искать какого-то неформального контакта, о таком легко можно было бы фантазировать, но он был слишком чистосердечен в детской педагогике, и сексуальных импульсов не возникало, хотелось держать дистанцию, я как будто видела нимб над его головой.

Мужчина, в котором много ласки, заботы, который наполнен шутками, как мешок Деда Мороза – подарками. Вся энергия которого – детям. Крошечным ньюйоркерам. Мне хотелось черпать его харизму ложкой, самой стать ребёнком: я слишком мало подобного видела в прошлой жизни. Я истосковалась по лицезрению щедрого, нелимитированного отцовства.

Свежая рубашка молочно-белого, бледно-розового или небесно-голубого оттенка, обрамляющая тёмную шею. Гладко выбритый затылок и короткая стрижка мелких кудрей, ухоженная борода в миллиметр длиной. Невозможная, обезоруживающая, восхитительная белозубая улыбка в поллица.

Мистер Уилсон – это гроздь детей, висящие на его руках, сидящие на его ногах, вьющиеся вокруг него, как ангелы вокруг Мадонны. Мужская ладонь, держащая за ручку рыжую еврейскую девочку в больших очках. Длинноволосую Моану какого-то барбадосского происхождения, хулиганского мальчика в футбольной майке и с афрокосичками, заплетёнными по голове, плачущего китайского драчуна.

Каждого ребёнка мистер Уилсон гладил по пушистому затылку и внимательно звал по имени. Или «sweetie», «honey», «rumpkin pie». Он присаживался на корточки при разговоре, чтобы быть на одном уровне с ребёнком. Общаться на равных. С Молли, Стэйси, Диллан, Джонни, Джинни, Уинни, Кенни, Брайаном, Амалией, Маликом, Трэем и Рамзи.

Я же была для него очередной мамочкой, в американских школах говорят «mommy» – обезличенно, как в российской детской поликлинике.

Я думала, мистер Уилсон был глубоко верующим человеком: в подобные рубашки и строгие костюмы с галстуками часто одеваются баптисты, а их в Бруклине много, да что далеко ходить, соседнее здание со школой было афроамериканской церковью, где по воскресеньям пели госпелы и прославляли Иисуса.

И однажды я любопытства ради действительно зашла в этот храм утром выходного дня. Я была, кажется, единственной белой на том богослужении. Доброжелательные женщины на входе сразу поняли, что я пришла только ради интереса, не зная слов их духовных гимнов, не чувствуя связи с их Богом. Но они тихонько посадили меня на скамейку в последнем ряду.

А когда пастор закончил проповедь, к алтарю поднялся мистер Уилсон в фиолетовом балахоне. Он оказался солистом баптистского хора. Тем, кто запекает госпел, предлагая слушателю сложную глиссандовую вариацию, и кого подхватывают альты и сопрано, выдавая уже традиционную версию музыкальной фразы. «Oh Happy Day!» – пел мистер Уилсон, сгибая две ноты мелодии, как расплавленный металл. «Oh Happy Day», – отвечал эхом хор.

И тогда я разглядела всю силу таланта этого человека. Мне не померещилось: воспитатель в нашей началке и прав-

да оказался селебрити бруклинского нейборхуда и всеобщим любимцем. Его появления ждали теперь уже взрослые: мамы, бабушки, дядюшки и деды, вставшие с лавок и, как по команде, запевшие вместе с ним. «Oh Happy Day, oh Happy Day, when Jesus washed, when Jesus washed my sins away». Мистер Уилсон нравился и детям, и женщинам, и старикам.

А после богослужения, когда зал опустел, а я всё ещё сидела на деревянной лавке в последнем ряду, он подошёл ко мне. «I think I saw you in our school recently, are you a parent?»² – «Угу, мистер Уилсон, даже не „пэрэнт“, а мамочка, как меня там называют». – «И что, мамочка, понравилась тебе наша служба?» – «Понравилась, мистер Уилсон, не знала, что вы классно поёте, никогда не слышала госпелы вживую, мне было хорошо тут». – «А ты заходи к нам иногда, неважно, что ты некрещёная, у нас тут много любви, её на всех хватит».

Я потом утонула в своих делах и в церковь больше не заходила, а он вскоре ушёл на повышение в нью-йоркский Департамент образования и покинул нашу школу. Но я оставила себе картинку о нём на память. И когда думаю о любви как об изобилии, о щедрости, о плодородной почве, часто вспоминаю мистера Уилсона.

² По-моему, я недавно видел вас в нашей школе, вы родитель?

По колено в океане

Как принять себя? Как перестать себя терзать и во всём винить? Как не наказывать себя за любую оплошность? Как прощать себе косяки и научиться практиковать самоутешение?

Из всех этих глаголов на первое место надо ставить один, и он, пожалуй, главный: понять. Как понять себя? Чего я на самом деле хочу? Что принесёт мне радость? Что для меня действительно важно?

Горький шоколад или молочный? Гитарная музыка или техно? В данный конкретный вечер – кино или сериал? Смешное или страшное? Чего я хочу прямо сейчас? Болтать и смеяться или юркнуть с тобой в постель?

Изучать себя, как неведомую науку, помнить, что ты ничего о себе не знаешь, воспринимать себя не как состоявшийся факт, а как загадку, быть себе интересной.

Я, например, намочила свои плотные тёмно-зелёные кюлоты ровно по колено, потому что влезла босыми ногами в океан. Колесо обозрения и старые аттракционы Кони-Айленда мигают огоньками за моей спиной. Но я лицом – к открытой воде. Я не могла сегодня иначе, хотелось материализовать это ощущение свободы, и только голодная чайка рядом.

Понять себя, трактовать всё, что с тобой случилось, как

инструкцию к применению. Каждая ошибка на твоём пути – это урок. Информация о том, как с тобой обращаться. Какая я? Внешне – волевая и цельная. А на деле – ранимая, травмированная, издёрганная.

Я могу плакать час, вспомнив неотгореванный эпизод пятилетней давности. Моя психика расшатана, я сама от себя иногда устаю. Я просыпаюсь в пять утра, потому что мне в наследство после моей той жизни, в Москве, досталась бессонница. Я люблю минор больше, чем мажор. Жду вечернего бокала вина как праздника. Иногда пишу, проснувшись от мыслей.

И Нью-Йорк – мой рехаб. И я бреду по нему навстречу новому опыту.

Выхожу на наш согретый солнцем балкон с видом на залив, с чашкой какао в руках, зажимаюсь, обжигающие лучи – прямо в глаза.

И вроде уже так привычна эта наша другая, ласковая жизнь, круизные лайнеры на горизонте, гуакамоле в глиняной чашке и долгие пьяные закаты.

Хочется взять саму себя за руку, пробежаться по ленивому воскресному Сохо, угостить себя правильным эспрессо в «Литтл Итали», попробовать лимонный капкейк в «Нолите», понюхать свечи «Сир Трудон» и надушиться бергамотовыми «Ателье Колонь», выставленными прямо на улице.

Увильнуть от бомжа-проповедника в метро.

Не наступить в кучу, которую навалила чья-то собака пря-

мо на асфальте и её почему-то не убрали.

Всегда поражало сочетание грязи, мусора и моды. Впрочем, прогулка будет недолгой, пора за дочкой, в школу.

В рыжем платье в пол, в босоножках бежишь по «Большому яблоку».

В жизни изменилось всё, каждая декорация, каждый костюм, каждый штрих гримёра, свет, цвет, вкус, звук, запахи. Только главная героиня – та же, и это она раньше не чувствовала почти ничего.

Неужели та жизнь тоже была моей?

Настоящая депрессия

В Москве я пережила два по-настоящему сильных депрессивных эпизода. Я до сих пор ощущаю их как провалы в ледяные колодцы.

Жуткая тревога вокруг этих событий. Ощущение какого-то непереносимого максимума, предела, к которому мне не положено было подбираться. Как будто я прикоснулась к границе жизни, как Труман в конце фильма «Шоу Трумана» доплывает до горизонта и трогает его рукой.

Депрессия – это тьма и ледяная вода, сковывающая постепенно жизнь и замораживающая её.

Депрессия – это дементоры.

Это прямой родственник смерти. Не физической, а психической.

А какая разница? Кому сдалось твоё красивое живое тело, если душа в нём погибает? Психически умереть тоже можно. Или заболеть.

Быть может, в действительности эпизодов было и больше, но я те, другие эпизоды, что называется, перенесла на ногах. А были два, когда я признала своё поражение в схватке с жизненными обстоятельствами. И сдалась антидепрессантам. И правильно сделала.

Оба моих эпизода были связаны с «качелями» в абьюзивных отношениях. Меня в этих отношениях слишком силь-

но бросало из коротких, в несколько дней, но очень интенсивных периодов эйфории в долгие, беспросветные периоды неприкаянности и всё нарастающего абьюза. И так – до эскалации конфликта, до драматического болезненного расставания.

А потом – через паузу, которая представляла собой полный обрыв связи и блокировки во всех мессенджерах, – снова эйфория и ренессанс отношений.

Эта изматывающая практика сводит с ума и высасывает силы постепенно. С каждой спиралью, с каждым качем всё больше дестабилизируя твоё представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.